

Говард Филлипс Лавкрафт

Изгой

(The Outsider)

*Барон всю ночь ворочался в постели;
Гостей подпивших буйный пляс томил
Чертей и ведьм — и в черноту могил
Тащили их во сне к червям голодным.*

Kumc

Несчастлив тот, на кого воспоминанья детских лет наводят лишь уныние и страх. Увы тому, кто помнит только долгие часы уединения в огромных мрачных залах с тяжелыми портьерами и сводящими с ума рядами старинных книг или одни безмолвные бдения в сумеречных рощах среди причудливых, гигантских, лозами отягченных деревьев, безмолвно простирающих изогнутые ветви в вышину. Таковую участь присудили боги мне — обманутому и обескураженному, опустошенному и сломленному. И все же в те мгновения, когда рассудок мой готов умчаться за свои пределы — *к иному!* — я в отчаянии цепляюсь за эти увядшие воспоминания и странным образом успокаиваюсь.

Где я родился, мне не ведомо; помню только замок, бесконечно старый и бесконечно страшный, со множеством темных галерей и высокими потолками, где глаз мог различить лишь паутину да сумрачные тени. Стены древних каменных коридоров, казалось, источали сырость, и мерзкий запах стоял повсюду, как будто разлагались груды трупов, оставленных минувшими поколениями. В замке никогда не было света, и поэтому я любил зажечь свечу и, не отрываясь, глядеть на нее. Но света не было и снаружи, ибо ненавистные деревья намного превосходили высотой самую высокую из доступных мне башен. Лишь одна черная башня возносилась над лесом и уходила в неведомое наружное небо, но подходы к ней были разрушены, и на нее никак нельзя было взобраться, разве что сделать заведомо безнадежную попытку вскарабкаться по голой стене, одолевая ее камень за камнем.

Вероятно, я прожил в этом месте долгие годы, но я не умею определять время. Кто-то, должно быть, заботился об удовлетворении моих нужд, однако я не могу припомнить никого, кроме самого себя; ни единой живой души, если не считать безмолвных крыс, летучих мышей и пауков. Впрочем, кто бы он ни был, мой радетель, он представляется мне невероятно старым, потому что мое первое понятие о живом человеке связано с чем-то карикатурно схожим со мной самим, только гораздо более уродливым, сморщенным — и ветхим, как и весь замок. Я никогда не находил ничего отталкивающего в тех костях и скелетах, что усыпали дно глубоких, сложенных из камня ям в подвалах замка. В моем воображении эти предметы причудливо ассоциировались с повседневностью, и я считал их, пожалуй, более натуральными, чем цветные изображения людей, попадавшие мне в пыльных книгах. Все, что я знаю, вычитано мною из этих книг. Никто не наставлял и не учил меня, и я не помню, чтобы хоть раз за все эти годы мне довелось услышать человеческий голос, в том числе и свой собственный, ибо хотя я и читал о том, что такое речь, мне даже в голову не приходило

попробовать заговорить вслух. Наружность моя равно не являлась предметом моих размышлений, так как в замке не было зеркал, и я разве что бессознательно ощущал себя похожим на тех молодых людей, чьи изображения встречались мне на рисунках и гравюрах в книгах. Молодым же я осознавал себя потому, что почти не имел воспоминаний.

За стенами замка, по ту сторону гниющего рва, я часто отдыхал под темными кронами молчаливых деревьев и часами мечтал о прочитанном в книгах, с тоскою рисуя себя среди веселых и шумных толп в солнечном мире за бескрайним лесом. Однажды я попытался выбраться из этого леса, но чем дальше отходил от замка, тем гуще становились тени, тем больше наполнялся воздух гнетущим страхом, и я, как безумный, бросился назад, боясь заблудиться в лабиринте ночной немоты.

Так, в вечном полумраке, я ждал и мечтал, сам не зная о чем. Но вот тоска моя по свету в этом сумрачном безлюдье стала столь невыносимой, что я не вытерпел и с мольбою воздел руки к единственной башне, черной и полуразрушенной, которая возвышалась над лесом и уходила в неведомое небо. И тогда я решил, что поднимусь на эту башню, чего бы это мне ни стоило, ибо лучше раз взглянуть на небо и погибнуть, чем вечно жить, не видя света дня.

В промозгом полумраке я взбирался по старым, стертым каменным ступеням, пока не достиг места, где они кончались и откуда наверх вели лишь небольшие углубления в стене, которыми я и воспользовался на свой страх и риск. Ужас и отчаяние внушал мне этот мертвый гладкий каменный цилиндр, черный, пустынный и немой, тем более зловещий оттого, что с его стен то и дело бесшумно взмывали в воздух вспугнутые мною нетопыри. Но еще в больший ужас и отчаяние приводило меня то, как невероятно долго длился мой подъем, ибо сколько я ни лез, тьма у меня над головой не рассеивалась. Вековым могильным холодом веяло на меня, и я трепетал, не в силах объяснить себе, почему я не могу достичь света. Вообразив, что меня застигла ночь, тщетно пытался я нащупать свободной рукой бойницу, чтобы выглянуть наружу и определить высоту, на которой нахожусь.

Но вот, после бесконечно долгого и рискованного подъема вслепую по этой безнадежной вогнутой круче, я почувствовал, что голова моя упирается во что-то твердое, и понял, что достиг крыши или, во всяком случае, какого-то перекрытия. В темноте я не мог различить, что это за преграда, а потому потрогал ее рукой и убедился, что это нечто каменное и неподвижное. Тогда я стал двигаться по окружности башни, цепляясь за все, за что только можно было ухватиться на скользкой стене, и поминутно рискуя сорваться вниз, пока наконец не нашел то место, где преграда слегка подавалась. Поскольку руки мои были заняты, я уперся в эту плиту или, точнее, крышку люка головой и, рванувшись вверх, приподнял ее. Моя надежда увидеть свет не оправдалась, и, пролезая в открывшийся проем, я уже знал, что путь мой завершен лишь на время, ибо передо мною была ровная каменная площадка, большего диаметра, нежели нижняя часть башни. Очевидно, это был пол какой-то грандиозной дозорной комнаты. Выбираясь на него, я старался двигаться так, чтобы тяжелая плита не вернулась на свое место, но при всей осторожности я не смог этого предотвратить — простершись в изнеможении на каменном полу, я услышал гулкое эхо, вызванное ее падением. Впрочем,

я надеялся, что при необходимости мне снова удастся ее приподнять.

Теперь-то уж, казалось мне, я нахожусь на такой высоте, куда не достают ветви проклятого леса. С трудом поднявшись на ноги, я стал на ощупь искать окно, чтобы наконец увидеть небо, месяц и звезды, о которых так много читал. Но куда бы я ни повернулся, меня всюду ждало разочарование — кругом были лишь одни широкие мраморные выступы, служившие подставкой для продолговатых сундуков пугающих размеров. Чем больше я думал и гадал, тем неодолимее становилось желание узнать, что за седые тайны скрывает это хранилище, отрезанное от нижнего замка веками расстояния. Но тут я неожиданно нащупал нишу с каменной дверью, покрытой каким-то необычным рельефом. Толкнув ее, я убедился, что она заперта, — тогда я собрал все силы и одним могучим рывком, способным сокрушить все земные препятствия, втянул ее внутрь, на себя. Едва я сделал это, как меня охватило сильнейшее из блаженств, когда-либо испытанных мною, — впереди, за декоративной металлической решеткой, к которой поднималось несколько каменных ступеней, сияла мягким, бархатным светом полная луна, виденная мною до того лишь в сновидениях и смутных грезах, которые я не осмеливаюсь назвать воспоминаниями.

Полагая, что на этот раз я уж точно достиг самой верхушки башни, я было бросился вверх по ведущим к решетке ступеням, но тут луну закрыла туча, в наступившей темноте я споткнулся и далее был вынужден продвигаться уже более осторожно и медленно. Когда я добрался до решетки, было по-прежнему темно; тронув ее, я удостоверился в том, что она не заперта, но открывать ее полностью не стал, боясь упасть с той головокружительной высоты, на которую поднялся. И в этот момент снова появилась луна.

Ничто не потрясает так сильно, как то, что до беспредельности неожиданно и до нелепости невероятно. Самое страшное из пережитого мною прежде не шло ни в какое сравнение с тем, что предстало моему взору в этот миг — с той абсурдной картиной, что открылась передо мной. Сама по себе она была, пожалуй, вполне прозаической, но тем-то и более ошеломляющей, ибо вот что я увидел: вместо головокружительной панорамы бескрайнего леса, обозреваемой с огромной высоты, сразу за решеткой и на том же уровне, где я стоял, простиралась ровная поверхность земли, усеянная мраморными плитами и обелисками, сгрудившимися вокруг старинной каменной церкви, шпиль которой призрачно поблескивал в лунном свете.

Действуя почти бессознательно, я отворил решетку и ступил на выложенную белым гравием дорожку, расходившуюся в двух направлениях. Моим рассудком, в каком бы оторопелом и беспорядочном состоянии он ни пребывал, по-прежнему владело неистовое стремление к свету, и даже испытанное мною разочарование не могло охладить меня. Я не имел понятия, да и не хотел понять, что это было — сон, наваждение или волшебство, — но я был полон решимости узреть великолепие и блеск мира, чего бы это мне ни стоило. Я не ведал, кто я, что я, где я нахожусь, но, продолжая следовать вперед неверными шагами, я вдруг начал смутно что-то припоминать, и это дремавшее во мне до поры воспоминание подсказало мне, что путь мой не совсем случаен. Миновав участок с плитами и обелисками, я вышел через арку на открытое пространство и теперь следовал по дороге, местами сохранившейся и хорошо заметной, местами же терявшейся

среди густых трав, где только отдельные развалины выдавали ее прежнее присутствие. Один раз мне пришлось переплыть через быстрый поток, посреди которого вздымались остатки замшелой и осыпающейся каменной кладки, свидетельствовавшие о том, что здесь некогда стоял мост.

Прошло, должно быть, больше двух часов, прежде чем я достиг своей предполагаемой цели — старого, увитого плющом замка посреди парка с густыми зарослями деревьев; замка до безумия знакомого и до неузнаваемости чужого. Я обнаружил, что ров заполнен водой, а многих известных мне башен нет. Меня также смутило присутствие нескольких новых флигелей. Однако более всего меня привлекли и приятно удивили настезь распахнутые окна, из которых вырывались снопы яркого света и доносились звуки самого буйного веселья. Приблизившись к одному из них, я заглянул внутрь и увидел большую компанию людей в необычных одеяниях; они пировали и вели оживленную беседу. Я ни разу не слышал, как звучит человеческая речь, и потому мог только смутно угадывать, о чем они говорили. Черты некоторых присутствующих пробудили во мне неясные, бесконечно далекие воспоминания; остальные лица были совершенно незнакомыми.

Через окно, расположенное вровень с землей, я вступил в ярко освещенный зал — и это был шаг от неповторимого проблеска надежды к жесточайшему из потрясений, к отчаянию и осознанию горькой истины. Кошмар не заставил себя ждать, ибо как только я вошел, глазам моим предстала ужаснейшая из сцен, какие только можно вообразить. Едва я сделал этот шаг, как всю компанию охватил внезапный и необъяснимый ужас, искаживший до уродства лица гостей и исторгнувший нечеловеческие вопли едва ли не из каждой глотки. Все разом бросились уносить ноги. В создавшейся суматохе и панике одни падали в обморок, другие подхватывали и тащили бесчувственные тела за собой в безумной спешке. Многие прикрыли глаза руками и, словно слепые котята, беспомощно тыкались в разные стороны, опрокидывая мебель и налетая на стены, прежде чем им удавалось добраться до какой-либо из многочисленных дверей.

Оставшись один в роскошном зале и еще не придя в себя от их душераздирающих криков, отзвуки которых постепенно стихали в отдалении, я вдруг затрепетал при мысли о том, что где-то рядом со мной затаилось нечто, чего я до сих пор не замечал. На первый взгляд зал казался пустым, но, когда я двинулся к одной из ниш, мне почудилось, будто я уловил там какое-то шевеление или что-то в этом роде — там, за обрамленным золотом дверным проемом, ведущим в другой, чем-то похожий на первый, зал. По мере приближения к арке я все более убеждался в том, что кроме меня в зале еще кто-то есть, и все же ужас, что предстал передо мной, был слишком неожиданным. Издав первый и последний в своей жизни звук — отвратительное завывание, потрясшее меня не меньше, чем его омерзительная причина, — я узрел во всей ужасной очевидности столь невообразимое, неопишное и безобразное чудовище, какое вполне могло одним видом своим превратить веселую компанию в беспорядочную толпу обезумевших от страха беглецов.

Я не в силах даже приблизительно описать, как выглядело это страшилище, сочетавшее в себе все, что нечисто, скверно, мерзко, непотребно, аморально и аномально. Это было какое-то дьявольское воплощение упадка, запустения и тлена, гниющий и

разлагающийся символ извращенного откровения, чудовищное обнажение того, что милосердная земля обычно скрывает от людских глаз. Видит Бог, это было нечто не от мира сего — во всяком случае, *теперь* уже не от мира сего, — и тем не менее, к ужасу своему, я разглядел в его изъеденных и обнажившихся до костей контурах отталкивающую и вызывающую карикатуру на человеческий облик, а в тех лохмотьях, что служили ему одеянием, — некий отдаленный намек на знатность, отчего мой ужас только усилился.

Я был почти парализован — правда, не настолько, чтобы не предпринять слабую попытку к бегству; но одного неверного шага назад оказалось недостаточно для того, чтобы разрушить чары, которыми сковал меня этот безымянный и безголосый монстр. Глаза мои, словно заколдованные неподвижно уставившимися в них тусклыми, безжизненными зрачками, отказывались повиноваться мне и, как я ни старался, не закрывались — они лишь милосердно затуманились, и богомерзкий призрак представлялся мне теперь не так отчетливо, как в момент первого шока. Я попытался было поднять руку, чтобы заслониться от этого зрелища, но силы оставили меня до такой степени, что рука не вполне повиновалась моей воле. Однако в результате этой попытки я потерял равновесие, и, чтобы не упасть, мне пришлось ступить несколько шатких шагов вперед. И только тогда, в тот самый момент, когда я делал эти шаги, я внезапно и как-то судорожно осознал, насколько близко нахожусь от этого чудовищного исчадия ада; мне даже почудилось, что я слышу глухой шум его дыхания. Находясь на грани помешательства, я все же нашел в себе силы выбросить вперед руку и отстранить от себя зловонный призрак, стоявший почти вплотную ко мне. И в этот самый миг, в это катастрофическое мгновение вселенского кошмара и адского катаклизма пальцы мои коснулись протянутой ко мне гниющей лапы монстра, стоявшего под позолоченным сводом.

Я не издал ни звука, но все кровожадные вампиры, оседлавшие ночной ветер, вскричали за меня в тот самый миг, когда на мой рассудок одной стремительной лавиной обрушились душегубительные воспоминания. За одну секунду я вспомнил все, что было со мною прежде, еще до того ужасного замка с его деревьями; я припомнил здание, со временем переделанное, в котором сейчас находился; и, что было кошмарнее всего, я узнал то богомерзкое существо, которое в момент, когда я отдергивал свои запятнанные пальцы от его лапы, оскалилось в чудовищной ухмылке.

Но во вселенной наряду с горечью существует и сладость, и имя этой сладости — забвение. В невысказанном ужасе того мгновения забылось все, что угнетало меня, и наплыв мрачных воспоминаний рассеялся хаотичным эхом перекликающихся образов. Грезя наяву, я покинул это проклятое логово призраков и быстро и бесшумно выбежал наружу — туда, где светила луна. Вернувшись на кладбище с мраморными плитами и спустившись по ступеням к каменному люку, я убедился, что его уже не сдвинуть с места, но это меня отнюдь не огорчило, ибо я уже с давних пор ненавидел тот старинный замок внизу и его деревья. Отныне я разъезжаю верхом на ночном ветре в компании с насмешливыми и дружелюбными вампирами, а когда наступает день, мы резвимся в катакомбах Нефрен-Ка, что находятся в неведомой и недоступной долине Хадоф возле Нила. Я знаю, что свет — не для меня, не считая света, струимого луной на каменные гробницы Неба; не для меня и веселье, не считая веселья запретных пиров Нитокрис под

Большой пирамидой. И все же в этой своей вновь обретенной свободе и безрассудстве я едва ли не благословляю горечь отчуждения.

Ибо, несмотря на покой, принесенный мне забвением, я никогда не забываю о том, что я — изгой, странник в этом столетии и чужак для всех, кто пока еще жив. Мне это стало ясно — раз и навсегда — с того момента, когда я протянул руку чудовищу в огромной позолоченной раме; протянул руку — и коснулся холодной и гладкой поверхности зеркала.

Перевод: Олег Мичковский

1992 год